

ТАЙГА · СУДЬБА · ЛЮБОВЬ

ДАРЁНКИН РАСПАДОК

роман

история одной жизни в сибирской тайге

Yazar Kitap

Дарёнкин распадок

«Автор»

2026

Kitap Y.

Дарёнкин распадок / Y. Kitap — «Автор», 2026

Ярослав Кречет четырнадцать лет крутил баранку городского автобуса, пока в одно дождливое утро не понял: он не живёт, а просто едет по кругу. Он бросает всё и уходит в сибирскую тайгу — восстанавливать заброшенную избу, учиться охотиться и рыбачить, слушать лес вместо гула города. Здесь он встречает Дарёну — женщину, для которой тайга родной дом. Вместе они переживут разрушительную бурю, нападение медведицы, лесной пожар и вторжение лесорубов, вырастят детей и построят настоящую жизнь — трудную, честную и по-настоящему счастливую. Роман о том, что дом — это не стены, а выбор, который делаешь каждый день.

© Kitap Y., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ДАРЁНКИН РАСПАДОК	5
роман	5
Глава первая. Автобус номер семь	6
Глава вторая. Дед Тихон	8
Глава третья. Дорога в тайгу	10
Глава четвёртая. Дом из мёртвых брёвен	12
Глава пятая. Наука тайги	14
Глава шестая. Тетрадь деда Аверьяна	16
Глава седьмая. Четыре времени реки	18
Глава восьмая. Гремучий Ключ	20
Глава девятая. Дарёна	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Үazar Kitar
Дарёнкин распадок
ДАРЁНКИН РАСПАДОК
роман

Глава первая. Автобус номер семь

Город просыпался одинаково каждое утро: сначала загорались окна хлебозавода, потом с грохотом выезжали из парка первые троллейбусы, а следом, ровно в пять сорок, из ворот автобусного депо номер три выкатывался старый «ЛиАЗ» маршрута номер семь. За рулём этого автобуса вот уже четырнадцать лет сидел Ярослав Кречет.

Он знал этот маршрут так, как иной человек знает морщины на собственной ладони. Знал, на каком светофоре загорится жёлтый, знал, где просядет асфальт после дождя и колесо ухнет в яму, знал, в какое время на остановке у рынка соберётся толпа бабушек с тележками, а у школы — крикливая орава детворы. Знал даже, в какой день месяца сядет на переднее сиденье слепой старик с тростью и попросит объявить остановку погромче, потому что слух у него уже не тот.

Работа была не сказать чтобы тяжёлая, но выматывающая по-своему, тихо, исподволь — как ржавчина ест железо не сразу, а незаметно, годами. Смены по двенадцать часов, выхлопные газы, духота салона летом и ледяной сквозняк из неисправных дверей зимой, вечные пробки, вечные жалобы пассажиров, вечное «шеф, притормози, я на следующей» и «мужчина, что вы так резко тормозите». Ярослав притормаживал. Ярослав объявлял остановки. Ярослав улыбался старушкам и делал вид, что не слышит, когда подвыпившая компания в конце салона отпускала шутки в его адрес.

Дома, в однокомнатной квартире на восьмом этаже панельной девятиэтажки, его никто не ждал. Жена ушла шесть лет назад — не со скандалом, тихо, собрала вещи, пока он был в рейсе, оставила записку на кухонном столе под сахарницей: «Прости, Слава, я больше не могу так жить. Ты словно уже не здесь». Детей у них не было. После развода Ярослав какое-то время пил, потом бросил, потому что за руль автобуса с похмелья не сядешь — это единственное, что он в жизни соблюдал свято.

Он не был несчастным человеком в привычном смысле слова. Просто в какой-то момент, лет около тридцати шести, он начал замечать, что каждый прожитый день удивительно похож на предыдущий, а всё, что он видит из окна кабины, — это спины людей, спешащих неизвестно куда, витрины магазинов, рекламные щиты, обещающие счастье в кредит, и небо, зажатое между многоэтажками в узкую серую полоску.

Однажды по осени, когда деревья вдоль проспекта Ленина стояли уже голые и мокрые, а дождь лупил по лобовому стеклу так, что «дворники» не успевали его смахивать, Ярослав вёз последний рейс. Пассажиров было немного — человек шесть, все молчаливые, усталые, каждый уткнулся в свой телефон. На остановке у поликлиники в автобус зашла девушка с букетом хризантем, села у окна и всю дорогу тихо плакала, прижимая цветы к груди. Никто не спросил её, что случилось. Никто даже не поднял головы от экрана.

И вот тогда, глядя в зеркало заднего вида на эту плачущую девушку и на равнодушные, освещённые синим светом мониторов лица остальных, Ярослав вдруг с необыкновенной ясностью подумал: а зачем всё это? Зачем это движение по кругу, эта видимость жизни, где люди едут куда-то, лишь бы ехать, лишь бы не оставаться наедине с тишиной?

Он довёз автобус до депо, сдал смену, вышел на улицу и долго стоял под дождём, не раскрывая зонта. Вода стекала по лицу, за шиворот, и было в этом что-то очищающее, будто город наконец-то смывал с него многолетнюю пыль.

С той ночи мысль о тайге не отпускала его.

Строго говоря, мысль эта родилась не сама по себе. Дед Ярослава, Тихон Пантелеевич, всю жизнь до самой смерти прожил в глухой сибирской деревне, промышлял охотой, и маленький Слава каждое лето проводил у него — учился ставить силки на зайца, разводить костёр без спичек одной искрой от кресала, читать следы на влажной земле у ручья. Дед умер, когда

Ярославу было пятнадцать, и с тех пор та жизнь — простая, суровая, настоящая — осталась в памяти светлым, почти сказочным пятном, куда хотелось вернуться снова и снова, особенно в самые серые городские дни.

Он начал читать. Скупал на развалах и заказывал через интернет книги про тайгу, про охотников-промысловиков, про отшельников — Арсеньева, Пришвина, воспоминания старых сибирских зверобоев. По вечерам, вместо телевизора, разворачивал на кухонном столе карты — сначала общегеографические, потом всё подробнее, вплоть до старых топографических «километровок», которые доставал через знакомого геодезиста. Изучал климат, повадки зверя, устройство охотничьих зимовий. Копил снаряжение — сначала по мелочи: хороший нож, компас, огниво, потом серьезнее — карабин, капканы, палатку, спальный мешок, рассчитанный на минус сорок.

Полтора года он готовился так, продолжая по будням выводить автобус на маршрут номер семь, а по выходным ходить в лес под городом — не за грибами, а тренировать глаз и ноги, привыкать снова читать чашу, как книгу.

Друзья и немногочисленная родня отнеслись к его затее по-разному. Сестра Алевтина, жившая в соседнем городе, крутила пальцем у виска и говорила, что брат сходит с ума на старости лет — а самому Ярославу в ту пору было тридцать восемь, какая уж тут старость. Сослуживцы по депо посмеивались, но беззлобно — многие втайне завидовали. Один только старый напарник, Пётр Дормидонтович, коренастый бывший геолог, доработавший до пенсии в автопарке диспетчером, отнёсся к решению Ярослава серьезно.

— Ты, Слава, дело затеваешь не шуточное, — сказал он, разливая по стаканам чай в тесной диспетчерской. — Тайга слабых не любит. Она либо примет человека, либо выплюнет — и хорошо, если живым выплюнет. Но если чувствуешь, что душа туда просится, — иди. Иначе сгниешь тут заживо, за баранкой этой, и сам того не заметишь.

Он же, Пётр Дормидонтович, и подсказал Ярославу край, куда стоит податься, — глухой, малонаселённый район в верховьях реки Чарус, где сам когда-то в молодости вёл геологоразведку. Мест там, по его словам, было пустых — заброшенных зимовий и охотничьих изб — предостаточно, и никакой цивилизации на сотню вёрст, кроме одной небольшой деревеньки Гремучий Ключ на берегу реки, куда изредка заезжал катер, доставлявший почту и товары.

Ярослав уволился из депо в марте, когда снег в городе ещё не сошёл, но в тайге, как он знал, уже начиналась предвесенняя капель. Начальник депо, грузный, вечно недовольный Виктор Аркадьевич, узнав о причине увольнения, только покачал головой:

— В отшельники, значит. Ну-ну. Через полгода вернёшься, знаю я вас.

Ярослав не стал спорить. Он просто пожал ему руку, забрал трудовую книжку и вышел из депо в последний раз, даже не оглянувшись на ряд синих автобусов, среди которых стоял и его — старый добрый «ЛиАЗ», за рулём которого прошло четырнадцать лет его жизни.

Квартиру он не стал продавать сразу — сдал знакомой семье, оставив себе путь к отступлению, хотя в глубине души твёрдо знал, что возвращаться не собирается. Собрал вещи, снаряжение, немного денег на первое время — и в начале апреля сел на поезд, идущий на восток.

Глава вторая. Дед Тихон

Прежде чем окончательно решиться на переезд в тайгу, Ярослав долгими вечерами вспоминал те далёкие летние месяцы своего детства, что он, ещё мальчишкой, проводил у деда по отцовской линии — Тихона Пантелеевича, всю свою жизнь прожившего в глухой сибирской деревне, не столь уж далёкой, к слову сказать, от тех самых мест, куда впоследствии привела Ярослава судьба.

Дед Тихон был человеком немногословным, суровым на вид, но по-настоящему добрым в глубине души — типичным представителем того особого, уходящего уже безвозвратно в прошлое поколения таёжных мужиков, для которых лес и река были не романтическим объектом созерцания, а самой сутью повседневного, тяжкого, но осмысленного существования.

Каждое лето маленький Слава, которого родители, занятые собственными городскими заботами, охотно отправляли на всё лето к деду, с нетерпением ждал этих поездок как самого важного события всего учебного года. Электричка, потом попутный грузовик, потом ещё несколько вёрст пешком — и вот уже перед глазами появлялась знакомая, покосившаяся от времени, но крепкая ещё изба деда Тихона, а сам старик, завидев внука издалека, неизменно выходил навстречу с той самой, редкой и оттого особенно ценной улыбкой, которую он берёт, казалось, только для этих летних встреч.

— Ну что, городской, — говорил он неизменно в первый день приезда внука, легонько трепля его вихрастую макушку тяжёлой, натруженной рукой, — отдохнёшь от асфальта своего, подышишь настоящим воздухом.

Дед Тихон учил внука самым простым, но оттого не менее важным таёжным премудростям: как правильно держать топор, чтобы не поранить руку; как разжечь костёр одной-единственной искрой от кресала, экономя драгоценные спички; как читать следы на влажной прибрежной земле, различая, чей это был проход — зайца, лисы или, быть может, самого хозяина тайги — медведя. Учил он и рыбной ловле, показывая внуку, как правильно вязать мушку из перьев и заячьей шерсти, как выбирать место для заброса на быстрой таёжной реке.

Особенно запомнились Ярославу долгие вечера у костра, когда дед Тихон, разомлевший после трудового дня, неторопливо, обстоятельно рассказывал внуку старинные таёжные легенды и были, немало из которых, к слову сказать, впоследствии удивительным образом перекликнулись с теми историями, что Ярослав услышал уже взрослым от бабки Аграфены в Гремучем Ключе, — свидетельство того, насколько глубока и обширна общая народная память сибирской тайги, передающаяся из поколения в поколение, из деревни в деревню, невзирая на огромные расстояния.

— Тайга, внучок, — говорил дед Тихон, задумчиво глядя на догорающие угли костра, — она справедливая. Кто её уважает, кто трудится честно, тот с голоду не помрёт, проживёт достойно. А кто жадничает, кто зверя без нужды губит или лес без толку переводит — того тайга рано или поздно накажет, своим особым, неписаным судом.

Слова эти, произнесённые дедом много лет назад, Ярослав вспомнил впоследствии не единожды за годы собственной таёжной жизни — и особенно ясно осознал их глубокую мудрость после случая с браконьерами, чья судьба, в конечном счёте, подтвердила справедливость дедовского наблюдения самым буквальным образом.

Умер дед Тихон, когда Ярославу было пятнадцать лет, — умер внезапно, от сердечного приступа, прямо на своём любимом рыболовном месте, куда отправился, по обыкновению, поутру проверить закинутые с вечера жерлицы. Нашли его местные рыбаки лишь к вечеру, когда обеспокоенные долгим отсутствием соседи отправились на поиски, — старик лежал у самой воды, с умиротворённым, спокойным выражением лица, будто просто прилёг отдохнуть на минуту да так и заснул навеки под тихий, убаюкивающий шум родной реки.

Смерть деда стала для подростка Ярослава первой по-настоящему серьёзной утратой в жизни, оставившей глубокую, незаживающую до конца рану, — но вместе с тем именно память о деде Тихоне, о тех далёких, беззаботных летних месяцах, проведённых в тайге, стала впоследствии тем самым семенем, из которого много лет спустя, уже во взрослой, разочаровавшейся в городской суете жизни, проросло окончательное, бесповоротное решение вернуться к истокам — туда, откуда, как теперь понимал Ярослав, и происходила настоящая, подлинная жизнь его собственного рода.

Обосновавшись впоследствии на Дарёнкином ручье, Ярослав нередко ловил себя на мысли, что многие его собственные жесты, привычки, даже интонации в разговоре с Дарёной и позднее с детьми удивительным образом повторяют манеру давно почившего деда Тихона, — будто тот, не дожив до этого счастливого момента, всё же незримо продолжал жить в собственном внуке, передавшем в свою очередь унаследованную таёжную мудрость уже собственным детям, Усладе и Кузьме.

— Знаешь, Дарёна, — признался он однажды жене, наблюдая за тем, как маленькая тогда ещё Услава увлечённо разжигает костёр огнивом точно так же, как когда-то учил самого Ярослава дед Тихон, — я иногда чувствую, будто дед мой снова живёт, только уже в моей дочери. Может, оно так всегда и бывает — не умирает по-настоящему человек, покуда живо то дело, тот труд, та любовь к земле, которую он передал следующим поколениям.

Глава третья. Дорога в тайгу

Поезд шёл почти двое суток. За окном сначала тянулись пригороды с покосившимися дачными домиками, потом поля, ещё покрытые ноздреватым, тающим снегом, потом леса — сперва редкие, потом всё гуще, всё темнее, пока однажды утром Ярослав не проснулся и не увидел за окном настоящую тайгу — стену тёмно-зелёных, почти чёрных елей и пихт, уходящую к горизонту без единого просвета.

На узловой станции Ярослав пересел на рейсовый автобус — тут он невольно усмехнулся, узнав в потрёпанном «ПАЗике» младшего брата своего родного маршрута номер семь, — и три часа тряся по разбитой грунтовке до райцентра. Оттуда до Гремучего Ключа добирался уже на попутном грузовике лесника, который вёз в деревню запчасти для трактора.

Деревня оказалась именно такой, какой он её себе представлял по рассказам Петра Дормидонтовича: два десятка изб вдоль единственной улицы, покосившаяся церквушка без креста, переделанная в сельский клуб, магазин с вывеской «Продукты», где кроме продуктов торговали ещё хозяйскими, боеприпасами и китайскими резиновыми сапогами. Река Чарус, широкая, стремительная, ещё несущая крупные, потемневшие от весеннего тепла льдины, огибала деревню полукругом, а за рекой сразу вставала тайга — глухая, безбрежная, без конца и края.

Первым делом Ярослав отправился к местному участковому, немолодому, флегматичному мужчине по фамилии Стрелков, — оформить временную регистрацию и разузнать про заброшенные зимовья в округе. Стрелков, выслушав историю про городского водителя, решившего податься в отшельники, долго молчал, разглядывая Ярослава оценивающим взглядом, а потом сказал неожиданно серьёзно:

— Изба есть. В распадке, где ручей Дарёнкин в Чарус впадает, километров пятнадцать вверх по реке. Хозяин её, дед Аверьян, помер три года назад, родни у него не осталось, изба так и стоит пустая, разоряется потихоньку. Крепкая была изба, ладная, только за три зимы без хозяина, поди, крыша просела и печь развалилась. Кому она нужна теперь — бери, коли не боишься.

— Не боюсь, — ответил Ярослав.

— Ну, гляди, — усмехнулся участковый. — Только медведей там пуще, чем у нас в клубе на танцах людей. И до ближайшего человека — если не считать тебя самого — вёрст двадцать. Случись что — рация нужна хорошая, а лучше спутниковый телефон. У нас тут связи мобильной отродясь не бывало.

Ярослав кивнул. Спутниковый телефон он предусмотрительно купил ещё в городе — дорогая штука, но жизнь дороже. Взял в деревне на прокат у знакомого Стрелкова резиновую лодку с мотором — весенняя вода была высокой, идти пешком по раскисшим таёжным тропам было бы втрое дольше и опаснее, — загрузил в неё нехитрый скарб и снаряжение и отправился вверх по Чарусу искать свой распадок.

Река встретила его неласково. Течение было сильным, вода — ледяной, серо-коричневой от талого снега, кое-где ещё плыли отставшие от ледохода льдины, с которыми приходилось расходиться, лавируя. Берега стояли высокие, обрывистые, поросшие понизу тальником, а выше — сплошной тёмной тайгой, в которой лишь кое-где светлели проталины. Дважды Ярослав видел на берегу свежие следы — один раз лосиные, глубоко вдавленные в раскисшую землю, другой раз — крупные, растопыренные отпечатки медвежьей лапы, ещё не просохшие.

Устье ручья Дарёнкина он чуть не проскочил — так неприметно оно пряталось за нависающими над водой корягами. Пришлось развернуть лодку и присмотреться внимательнее: узкая протока, заросшая по берегам ольхой, уходила в глубь леса, петляя меж камней.

Пешком, оставив лодку в затоне и взвалив на плечи тяжёлый рюкзак, Ярослав прошёл вдоль ручья ещё около километра — и наконец увидел избу.

Она стояла на невысоком взгорке, среди старых лиственниц, срубленная из потемневших от времени, но всё ещё крепких брёвен — низкая, приземистая, с крохотными, будто прищуренными оконцами, с провалившейся в одном углу кровлей, из-под которой торчали клочья позеленевшего мха. Дверь покосилась и держалась на одной петле. Вокруг избы буйно разрослась крапива и малинник, а на самой крыше, в дёрне, кто-то — то ли ветер, то ли птицы — умудрился посеять молодую берёзку, которая уже вымахала едва не в человеческий рост.

Ярослав долго стоял перед этим зрелищем, не решаясь войти, — так стоит человек перед дверью, за которой, как ему кажется, решится его судьба. Пахло прелой хвоей, талым снегом, дымом далёкого костра — хотя костра поблизости не было, и запах этот, скорее всего, просто примерещился ему от волнения.

Наконец он толкнул покосившуюся дверь. Она заскрипела, но подалась. Внутри было темно, сыро, пахло мышами и старым деревом. Печь — большая русская печь, занимавшая едва не треть избы, — стояла закопчённая, с трещиной вдоль всего бока. Дощатый пол местами прогнил, в углу зияла дыра, через которую, судя по всему, навевывались лесные гости. На стене висела истлевшая, изъеденная молью беличья шкурка — видно, последнее, что не успел забрать с собой в мир иной старый хозяин Аверьян.

Ярослав опустился на колени посреди этой разрухи, провёл рукой по бревну стены — сухому, крепкому, звенящему, несмотря на все три года запустения, — и вдруг ощутил не разочарование, а совсем другое чувство: азарт. Ему предстояла работа. Настоящая, живая работа — не крутить баранку по кругу, а вдохнуть жизнь в мёртвый дом, сделать его пригодным для жилья своими руками.

— Ну что, — сказал он вслух пустой избе, и голос его прозвучал неожиданно гулко в этих закопчённых стенах, — будем жить.

За окном тем временем начинало смеркаться, и где-то далеко, за ручьём, глухо, протяжно заухал филин.

Глава четвёртая. Дом из мёртвых брёвен

Первые недели в тайге оказались самыми тяжёлыми во всей затее — тяжелее, чем предполагал даже начитанный книгами Ярослав.

Ночевал он первые дни в палатке рядом с избой, поскольку внутри было решительно невозможно находиться — сырость, гнилой пол, дыры в крыше, через которые то и дело сыпался мелкий весенний дождь. Дни напролёт разбирал завалы: выносил истлевшую утварь, отдирав прогнившие доски пола, счищал с брёвен многолетнюю копоть и плесень.

Первым делом он взялся за крышу. По совету всё того же Петра Дормидонтовича, а вернее по книгам, которые тот в своё время рекомендовал, Ярослав ещё в городе выучил, как перекрывают крыши традиционным сибирским способом — дранкой и берестой, без единого гвоздя, на одних пазах и клиньях. Теория теорией, но когда дошло до дела, руки поначалу не слушались, инструмент — хороший топор, тесло, скобель, привезённые ещё из города, — казался чужим и неудобным.

Он до кровавых мозолей учился колоть дранку — тонкие, ровные дощечки из смолистой ели, которые потом укладывались внахлёт, ряд за рядом, наподобие рыбьей чешуи. Первые его дощечки выходили кривыми, ломкими, пять из шести годились разве что на растопку. Но постепенно, день за днём, рука начала запоминать нужное усилие, нужный угол наклона лезвия, — и к исходу второй недели у него уже получалось колоть дранку почти так же ровно, как на картинках в старой книге про сибирское деревянное зодчество.

Провалившийся угол кровли пришлось разбирать полностью — гнилые стропила выкидывать, новые вытёсывать из сушняка, благо сухостоя в окрестной тайге хватало с избытком. Работа шла медленно: один человек, без подсобника, без техники, поднимал тяжёлые брёвна на верёвках через блок, привязанный к соседней лиственнице, — придумал это приспособление сам, вспомнив, как когда-то в юности видел на стройке.

Печь пришлось перекладывать заново — трещина в боку оказалась сквозной, топить такую печь означало рано или поздно спалить всю избу. Глину для раствора Ярослав нашёл в обрыве у ручья — жирную, синеватую, отлично подходящую для кладки, — и почти неделю провозился с печью, замешивая раствор, подгоняя старые, оставшиеся ещё от деда Аверьяна кирпичи, докупая недостающие — их пришлось везти на лодке из деревни, по два-три десятка за раз, больше лодка не поднимала.

Полы он перестелил полностью, используя всё тот же сухостой, обтёсанный в плахи. Окна — крохотные, чуть больше форточки, — расширил на треть, застеклил, привезя стёкла всё из той же деревни, обмотав каждое в тряпье и уложив в лодку с особой осторожностью, чтобы не разбить на порогах.

К середине лета, когда на Чарусе отцвела черёмуха и в тайге настала пора коротких, душных, но всё-таки летних ночей, изба преобразилась неузнаваемо. Новая тесовая кровля блестела на солнце светлой смолистой желтизной, ещё не успевшей потемнеть от непогоды. Печь, побеленная известью, стояла ладная, крепкая, тянула хорошо, без единого дымного облачка в избу. Пол был крепким и ровным, стены — законопачены свежим мхом и паклей, дверь навешена заново, на крепких кованых петлях, купленных в деревне.

Рядом с избой Ярослав срубил небольшую баньку по-чёрному — тоже своими руками, тоже с бесчисленными ошибками и переделками, но к августу баня уже топилась, и вечером, после тяжёлого трудового дня, не было большего наслаждения, чем окатиться после жаркого пара ледяной водой из ручья.

Обустроил он и небольшой лабаз на высоких сваях — амбарчик для хранения припасов, недоступный медведям и прочему зверью, — и копильню под навесом, и просторные сени, где развесил вязками пучки трав и корни, которые начал собирать по подсказкам старой затрё-

панной книжки «Дары тайги», прихваченной из городской библиотеки едва ли не последней перед отъездом, да так и не возвращённой.

Порой, в редкие минуты отдыха, сидя на завалинке и глядя, как заходящее солнце золотит верхушки лиственниц на другом берегу ручья, Ярослав ловил себя на странном чувстве — будто не он строил этот дом заново, а дом, оживая под его руками, строил заново его самого. Мозолистые ладони, обветренное, тронутое загаром лицо, окрепшие от постоянной физической работы плечи — всё в нём менялось, менялось так стремительно и глубоко, что, глянув как-то невзначай на своё отражение в спокойной воде затона, он с трудом узнал себя.

Городской водитель Ярослав Кречет постепенно исчезал, растворялся в тайге, как утренний туман растворяется под солнцем. На смену ему приходил другой человек — ещё не вполне таёжник, не вполне охотник, но уже далеко не горожанин.

Глава пятая. Наука тайги

С восстановлением избы забот меньше не стало — напротив, теперь предстояло научиться жить с тайги, а не просто в тайге. Привезённых из города запасов — круп, консервов, сахара, соли — хватило бы месяца на два, не больше, а зима в этих краях, как предупреждал ещё участковый Стрелков, приходит рано и не отпускает до самого мая. Нужно было учиться охотиться и рыбачить всерьёз, не как городской турист на выходных, а как человек, для которого это вопрос выживания.

Рыбалка далась легче — сказались детские уроки деда Тихона Пантелеевича, да и Чарус с его быстрой холодной водой оказался рекой на удивление щедрой. В затонах и на перекалах брался хариус — рыба капризная, быстрая, требующая точного, лёгкого заброса и особого чутья на то, где она стоит в потоке. Ярослав сплёл себе несколько мушек из перьев подстреленного рябчика и заячьей шерсти, повторяя рисунки, увиденные в книгах, и уже через неделю ловил хариуса вполне уверенно — на закате, когда рыба выходила на поверхность бить мошку, только успевай подсекать.

В глубоких ямах под завалами коряг держался таймень — рыба легендарная, крупная, порой достигающая полутора метров в длину, хозяин сибирских рек. Первого своего тайменя Ярослав упустил самым позорным образом — рыба взяла блесну так резко, что вырвала спиннинг прямо из рук, и он потом полдня бродил по берегу, разыскивая унесённое течением удилище. Зато второй таймень, пойманный уже в конце лета, потянул почти на двенадцать килограммов, и провозился с ним Ярослав добрых сорок минут, то отпуская леску, то снова выбирая, пока обессиленная рыба не позволила наконец подвести себя к берегу.

Ставил он и морды — плетёные из тальника ловушки для рыбы, — и особые запруды на мелких протоках, куда заходила на нерест щука. Излишки рыбы вялил и коптил в устроенной коптильне, набивая ольховыми и можжевельновыми стружками для аромата, — вяленый хариус да копчёный таймень стали для него не просто едой, а своего рода валютой, которую охотно брали в деревенском магазине в обмен на муку и патроны.

Охота давалась труднее — здесь городской опыт не помогал вовсе, приходилось учиться заново, шаг за шагом, порой на собственных ошибках, а порой рискуя не только добычей, но и жизнью.

Начал Ярослав с малого — с силков на зайца, которые ставил вдоль звериных троп неподалёку от избы, приметив в примятой траве и обгрызенной коре следы заячьей жировки. Первые силки зверь благополучно обходил стороной — то ли чуял человеческий запах, то ли попросту петля стояла неверно, — и лишь на третью неделю в силочек наконец угодил крупный русак, которого Ярослав освежевал и приготовил с чувством, близким к священному трепету: это была его первая настоящая таёжная добыча.

Дальше пошли рябчики — их скрадывали на слух, подражая свисту манком, вырезанным Ярославом из берцовой кости зайца по старинному рецепту, вычитанному всё в той же книге. Потом, к осени, настал черёд боровой дичи покрупнее — глухаря и тетерева, которых искал на утренних и вечерних токах, подолгу выжидая в скрадке из лапника, пока чуткая птица не потеряет осторожность.

Крупного зверя Ярослав побаивался и первое время старался обходить его тропы стороной, но нужда заставляла: одному хариусу да зайчатине зиму не пережить, нужно было мясо — сохатина, оленина, а лучше всего — кабарожья струя и мясо, которые особенно ценились в деревне при обмене.

Первого лося он взял в сентябре, во время гона, подманив быка грубым берестяным манком, имитирующим рёв соперника, — сердце колотилось так, что Ярослав боялся, будто зверь услышит стук раньше выстрела. Пуля легла точно, зверь упал с одного выстрела, но освежевать

и разделать полуторатонную тушу в одиночку оказалось работой не менее тяжёлой, чем сам выстрел, — провозился он с этим до глубокой ночи, а после ещё три дня перетаскивал мясо к избе на самодельных, сколоченных на скорую руку носилках, благо стояла уже прохладная погода и мясо не портилось.

Соболя и белку, чей мех особенно ценился скупщиками, Ярослав начал промышлять к первому снегу, расставляя капканы и кулёмки вдоль своей, уже хорошо изученной охотничьей путины — петляющей на добрый десяток вёрст тропы, размеченной затесами на стволах деревьев. Ходить по путине приходилось через день, проверяя ловушки, снимая и обрабатывая шкурки, — работа кропотливая, требующая терпения и знания звериных повадок.

Не всё давалось легко. Однажды, проверяя дальний край путины, Ярослав едва не провалился по грудь в незамерзающую наледь, скрытую под тонким слоем свежего снега, и потом два часа выбирался, теряя силы и рискуя замёрзнуть насмерть, — с той поры он навсегда зарёкся ходить по незнакомому льду без длинного шеста-щупа. В другой раз потревоженная росوماха — зверь на удивление злобный и опасный, несмотря на скромные размеры, — располосовала ему капканом же придавленную лапу так, что Ярослав едва отбился, огрев наглую хищницу прикладом карабина.

Но месяц за месяцем наука тайги входила в его плоть и кровь. К исходу первого своего таёжного года Ярослав Кречет уже не был учеником, робко листающим страницы книг про охоту и рыбалку. Он стал таёжником — человеком, для которого лес, река, зверь и птица сделались не предметом романтических грёз, а самой тканью повседневной жизни, суровой, требовательной, но и по-своему щедрой к тому, кто умеет её слушать.

Глава шестая. Тетрадь деда Аверьяна

Среди хлама, вынесенного из избы в первые недели восстановительных работ, Ярослав едва не выбросил, приняв за обыкновенный, изгрызенный мышами мусор, старую, обмотанную для сохранности вощёной холстиной тетрадь в потемневшей от времени коленкоровой обложке. Что-то, впрочем, — быть может, простое любопытство, а быть может, смутное чувство уважения к прежнему хозяину избы, — заставило его развернуть находку и взглянуться в аккуратный, хотя и старомодный, полууставный почерк, покрывавший пожелтевшие, местами изъеденные сыростью страницы.

Это оказался дневник самого деда Аверьяна — тот вёл его, судя по всему, урывками, не систематически, а лишь в те редкие минуты, когда одиночество особенно сильно требовало выхода в слове, — и записи эти, охватывавшие без малого сорок лет таёжной жизни, Ярослав, наскоро отремонтировав крышу и печь, читал долгими зимними вечерами при свете керосиновой лампы, откладывая книгу лишь тогда, когда сон окончательно смаривал усталые за день глаза.

История деда Аверьяна поразила Ярослава удивительным, почти зеркальным сходством с его собственной судьбой. Аверьян Игнатьевич Лыков, как явствовало из первых, наиболее подробных страниц дневника, тоже некогда был человеком совершенно не таёжного склада — работал до войны учителем сельской школы в одном из южных, степных районов, а в тайгу пришёл сразу после войны, вернувшись с фронта контуженым, не способным более выносить шумную, многолюдную жизнь обычной деревни.

«Тишина здесь такая, — писал дед Аверьян в одной из ранних записей, датированной, судя по всему, ещё сорок седьмым годом, — что поначалу с ума сходил, чудились мне выстрелы да крики, будто война меня и здесь достать пытается. А потом привык, и тишина эта стала мне слаще любой музыки — потому как в ней я наконец-то самого себя расслышал, а не гул орудий да чужие приказы».

Дальнейшие страницы дневника подробно, хотя и суховатым, деловым языком человека, привыкшего к учительской точности, описывали годы становления Аверьяна как настоящего таёжного промысловика — точь-в-точь как это происходило теперь и с самим Ярославом: неумелые первые силки, обиднейшие промахи на охоте, постепенное, шаг за шагом, обретение необходимых для выживания в тайге навыков.

Особенно тронуло Ярослава описание того, как дед Аверьян, тоже проживший первые несколько лет в глухом одиночестве, встретил впоследствии свою будущую жену — молодую вдову из соседней деревни, потерявшую на той же войне мужа и решившую, подобно многим овдовевшим тогда женщинам, попытать счастья на новом месте. Их история любви, разворачивавшаяся на страницах старого дневника, во многом перекликалась с собственной историей Ярослава и Дарёны — та же осторожная, неспешная *close*, то же взаимное уважение, рождённое общим трудом, та же глубокая, выстраданная привязанность, куда более прочная, чем скоропалительная городская влюблённость.

«Марфа моя, — писал дед Аверьян о своей покойной жене на одной из поздних страниц дневника, — не красавица была, не мастерица говорить складно, зато человек была настоящий, тайги не боявшийся, труда не чуравшийся. Прожили мы с ней вместе сорок два года, и ни разу, ни единого разу за все эти годы не пожалел я, что судьба свела меня именно с ней, а не с какой другой».

Дневник обрывался внезапно, буквально на полуслове, последняя запись датировалась годом, предшествовавшим смерти самой Марфы Лыковой, — судя по всему, дед Аверьян, тяжело переживший потерю жены, окончательно утратил желание вести дальнейшие записи, доживая оставшиеся годы уже в глубоком, ничем не нарушаемом одиночестве.

Прочитав дневник до конца, Ярослав долго сидел неподвижно, глядя на пляшущее в печи пламя, обдумывая удивительное, почти пророческое сходство собственной судьбы с судьбой давно почившего хозяина избы. Быть может, подумалось ему тогда, тайга эта — не просто дикая, безучастная к человеческим судьбам природа, а нечто большее: живое, обладающее собственной, непостижимой для городского разума памятью пространство, притягивающее к себе поколение за поколением похожих друг на друга людей — ищущих истинного, неподдельного смысла жизни, готовых заплатить за него тяжким трудом и суровыми лишениями.

С той поры Ярослав хранил найденный дневник как одну из самых драгоценных своих реликвий, а впоследствии, уже после появления в его жизни Дарёны, прочитал ей эти старые записи вслух долгими зимними вечерами — и она, выслушав историю деда Аверьяна и его Марфы, заметила тогда с глубокой, задумчивой серьёзностью:

— Значит, не мы первые, не мы последние. Значит, тайга эта испокон веков людей таких, как мы с тобой, к себе призывает — тех, кто устал от суеты да фальши, кто настоящей, честной жизни ищет. И коли так, стало быть, мы с тобой не просто так здесь очутились, а по какому-то высшему замыслу, пусть и не нам его до конца понять.

Могила деда Аверьяна — скромный, покосившийся от времени крест на небольшом лесном погосте неподалёку от избы, где покоился он рядом со своей Марфой, — Ярослав с тех пор содержал в порядке, регулярно навещая её и поправляя покосившуюся ограду, испытывая к этому давно почившему, но так похожему на него самого человеку глубокое, почти сыновнее уважение.

Глава седьмая. Четыре времени реки

Год за годом, наблюдая за жизнью Чаруса и его многочисленных притоков, включая, разумеется, и родной Дарёнкин ручей, Ярослав постепенно постиг ту тонкую, многогранную науку рыбной ловли, которая делает настоящего таёжного рыболова куда более искусным, чем самый оснащённый техникой городской спортсмен-любитель.

Ранней весной, едва лишь на реке начинал трогаться, взламываясь с оглушительным грохотом и скрежетом, зимний лёд, наступала пора самой азартной, хотя и опасной рыбалки — ловли хариуса на майский жук и первую, ещё робкую весеннюю мошку у самой кромки отходящего льда, там, где рыба, изголодавшаяся за долгую зиму подо льдом, особенно жадно бросалась на любую подходящую приманку. Работать удочкой приходилось с особой осторожностью, стоя на ненадёжном, готовом в любой момент обвалиться прибрежном льду, а потому Дарёна, куда более опытная в этом рискованном деле, неизменно проверяла прочность льда длинным пешнем, прежде чем разрешить Ярославу приблизиться к самой кромке.

Особую, отдельную главу таёжной рыболовной науки составляла охота за нерестящейся щукой, устремлявшейся в конце апреля — начале мая в мелкие, залитые талой водой протоки и старицы для метания икры. В эту недолгую, но чрезвычайно продуктивную пору Ярослав и Дарёна устраивали на подходящих протоках специальные, сплетённые из тальниковых прутьев верши-ловушки, позволявшие за считанные дни заготовить значительный запас вяленой щуки — рыбы хотя и не самой изысканной по вкусу, зато чрезвычайно ценной именно своей многочисленностью и лёгкостью заготовки впрок.

Летом, когда вода в реке спадала, обнажая перекаты и делаясь особенно прозрачной, наступала пора истинного мастерства — ловли хариуса нахлыстом на самодельные мушки, требовавшей не только точного, лёгкого заброса, но и глубокого понимания поведения этой осторожной, привередливой рыбы. Ярослав, за долгие годы практики в совершенстве освоивший это искусство, научился безошибочно определять по едва заметной ряби на поверхности воды, где именно в данный момент кормится рыба, и подбирать соответствующую случаю имитацию насекомого — то лёгкую, почти невесомую мушку из перьев рябчика, имитирующую подёнку, то более тяжёлую, притопленную имитацию ручейника.

Именно летом же, в пору наибольшего летнего тепла, начинался и самый азартный, самый желанный для любого таёжного рыболова промысел — охота за крупным тайменем, царём сибирских рек, достигающим порой поистине исполинских размеров. Ярослав, изучив по многолетним наблюдениям излюбленные тайменем места — глубокие, затенённые нависающими деревьями ямы, участки под скальными выступами, устья впадающих в основную реку холодных ручьёв, — специализировался на ловле этой благородной, но чрезвычайно осторожной и сильной рыбы на крупные, тяжёлые блёсны и самодельные объёмные мышки, имитирующие переплывающих реку грызунов, — способ, особенно эффективный в тёмные, безлунные летние ночи, когда хищный таймень выходил на охоту наиболее активно.

Осенью, с началом нереста самого тайменя и родственного ему ленка, наступала особая, требующая максимальной осторожности пора: закон, да и простое таёжное благоразумие, запрещали добычу рыбы непосредственно на нерестилищах, а потому Ярослав и Дарёна в эту пору переключались преимущественно на озёрную рыбалку в многочисленных таёжных озёрах, богатых карасём и линём, либо занимались активной заготовкой рыбы впрок, коптя и вяля добытый за предыдущие месяцы улов.

Зимой же, когда река окончательно сковывалась толстым, полутораметровым в иных местах льдом, наступала пора подлёдного лова — искусства, требовавшего не столько активных действий, сколько терпения, внимательности и глубокого знания рельефа речного дна. Ярослав, вырубив во льду серию лунок в заранее вычисленных, наиболее перспективных местах,

мог часами просиживать над одной-единственной лункой, наблюдая за едва заметной игрой мормышки, поднимая изредка со дна крупного окуня или сига.

Особым, немаловажным аспектом зимней рыбалки была ловля налима — рыбы своеобразной, активной именно в самые лютые морозы, когда прочая живность в реке впадала в подобие зимнего оцепенения. Ловили налима преимущественно ночью, на глубоких ямах, ставя специальные жерлицы с живцом, — и добытый таким образом налим, чья жирная, богатая витаминами печень считалась особым деликатесом, становился существенным подспорьем в самую тяжёлую, скудную на прочую добычу пору года.

Вся эта многогранная, требующая глубоких, годами накапливаемых знаний рыболовная наука, освоенная Ярославом за годы таёжной жизни, представляла собой, по его собственному признанию, куда более увлекательное и осмысленное занятие, нежели прежняя, монотонная работа за рулём городского автобуса, — занятие, требующее постоянного, живого диалога с природой, внимательного, чуткого наблюдения за её бесконечно изменчивыми, но при этом подчинёнными строгим, познаваемым закономерностям ритмами.

— Знаешь, Дарёна, — сказал он ей однажды, разбирая после удачной ночной рыбалки богатый улов налима, — я вот думаю иногда: за все эти годы, что я в тайге прожил, я, наверное, о самой реке этой узнал больше, чем за всю прежнюю жизнь знал о собственной душе. А ведь оказывается, это, наверное, одно и то же в конечном счёте — познавать реку и познавать себя, потому что и то и другое требует одинакового терпения и одинаковой честности.

Глава восьмая. Гремучий Ключ

К зиме уклад жизни Ярослава устоялся в некий постоянный, хотя и суровый распорядок, подчинённый не часам и не календарю, а самой тайге — её свету, её холоду, её голоду и её щедрости.

Вставал он теперь с рассветом, а зимой это означало подниматься затемно, часов около семи, и первым делом растапливал печь, которая за долгую морозную ночь успевала выстыть настолько, что вода в кадке у порога иногда покрывалась тонкой корочкой льда. Пока изба прогревалась, Ярослав выходил на улицу — проверить, не намело ли снега у двери лабаза, глянуть на градусник, сколоченный из старого термометра и деревянной планки, послушать лес.

Тайга зимой звучит совсем не так, как летом. Летом она полнится птичьим гомоном, комариным звоном, шелестом листвы; зимой же наступает особая, звенящая тишина, в которой любой звук — треск сучка под тяжестью снега, далёкий скрип промерзающего ствола, уханье филина — разносится на удивление далеко и чётко, будто лес специально прислушивается вместе с человеком.

Раз в неделю, иногда в десять дней, Ярослав уходил на путику — проверять капканы и кулёмки, расставленные на соболя, белку, порой на горностаю. Путик его тянулся замысловатой петлёй почти на двенадцать вёрст, огибая распадок ручья, поднимаясь на невысокий хребтик, откуда в ясную погоду открывался вид на добрую половину окрестной тайги, и спускаясь затем к старой гари, заросшей молодым березняком, — там особенно хорошо шёл заяц и куропатка.

Обход путика занимал целый световой день, а зимний день в этих широтах короток — часам к четырём пополудни начинало смеркаться, и возвращаться приходилось уже в сумерках, порой при свете луны, ориентируясь по знакомым затесам на стволах и собственным же следам, занесённым позёмкой наполовину.

Раз в месяц, а то и в полтора, накопив достаточно шкурок и заготовив вяленой да копчёной рыбы, Ярослав отправлялся в Гремучий Ключ. Зимой путь этот проделывался на лыжах — широких, подбитых камусом, охотничьих лыжах собственного изготовления, — и занимал почти день пути в одну сторону, так что ночевать приходилось в деревне, у знакомого уже старика Стрелкова-участкового, который со временем стал относиться к странному городскому отшельнику с неподдельным уважением.

Деревня Гремучий Ключ жила своей неспешной, замкнутой жизнью. Население её — от силы полторы сотни душ, преимущественно старики да несколько семей охотников и рыбаков помоложе, — знало Ярослава уже в лицо и привыкло к его редким появлениям с тяжёлым заплечным мешком, набитым мехом и рыбой.

Скупщик пушнины, приезжавший в деревню раз в сезон на моторной лодке из райцентра, — краснолицый, вечно чем-то недовольный мужчина по фамилии Гнатюк — придиричиво осматривал каждую шкурку на просвет, шупал мех, дул против шёрстки, проверяя густоту подпуши, и после долгого, полного притворного возмущения торга всё же платил справедливую цену, признавая про себя, что выделка у городского отшельника выходит на диво аккуратной.

На вырученные деньги да в обмен на рыбу и мясо Ярослав закупал в деревенском магазине то, чего тайга дать не могла: муку, крупу — гречку и пшено особенно, соль, сахар, чай, спички, порох и капсюли, батарейки для фонарика и рации, иногда — новую одежду или инструмент взамен износившегося. Продавщица магазина, полная, добродушная тётка Клавдия, всегда придерживала для «таёжного Робинзона», как она в шутку его называла, лучшие товары и щедро делилась деревенскими новостями, которых Ярослав, по правде говоря, слушал вполуха — жизнь Гремучего Ключа мало трогала его теперь, вся его жизнь была там, за рекой, в распадке Дарёнкина ручья.

Возвращаясь из деревни, Ярослав неизменно испытывал странное, двойственное чувство: облегчение оттого, что человеческий шум и суета остаются позади, и одновременно — некое смутное, ещё не осознанное чувство, будто чего-то в его отшельнической жизни всё же не хватает. Он гнал от себя эту мысль, списывая её на обычную усталость от долгого пути, но она возвращалась снова и снова, особенно долгими зимними вечерами, когда потрескивали в печи дрова, а за окном густела беспросветная таёжная тьма.

Так продолжалось два с половиной года — зима сменяла лето, лето сменяла зима, путик прирастал новыми затесами, изба обростала новыми пристройками и удобствами, а Ярослав Кречет всё увереннее чувствовал себя настоящим таёжником. Но одна встреча — самая обычная, случившаяся холодным февральским днём в деревенском магазине, — перевернула весь размеренный уклад его отшельнической жизни.

Глава девятая. Дарёна

Была вторая половина февраля — самый лютый, самый морозный месяц в этих краях, когда столбик термометра порой опускался ниже сорока и даже привычные ко всему таёжные птицы старались лишний раз не покидать укрытий. Ярослав, как обычно, пришёл в Гремучий Ключ продать соболиные шкурки и запастись мукой да порохом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.